

БОРИС ВАСИЛЬЕВ

ЖИЛА-БЫЛА  
КЛАВОЧКА



Борис Васильев  
**Жила-была Клавочка**

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

## **Васильев Б.**

Жила-была Клавочка / Б. Васильев — «Мультимедийное издательство Стрельбицкого»,

К главному персонажу книги Бориса Васильева «Жила-была Клавочка» с первых же страниц проникаешься добрыми чувствами и симпатией. Удачно выбранное время событий помогло автору углубиться в проблематику и поднять ряд жизненных вопросов, над которыми стоит задуматься всем. Основное внимание уделено сложностям во взаимоотношениях, но легкая ирония сглаживает острые углы и снимает напряженность.

© Васильев Б.  
© Мультимедийное издательство  
Стрельбицкого

# Содержание

1	5
2	9
Конец ознакомительного фрагмента.	11

# Борис Васильев

## Жила-была Клавочка

### 1

Встать в семь; умыться, прибраться, перекусить, привести себя в порядок, выйти из дома не позже восьми пятнадцати; автобус, метро с пересадкой, снова автобус, да еще пять минут ходьбы – девять часов ровно. Четыре часа работы плюс час перерыв плюс еще четыре часа – уже шесть вечера, день прошел; путь домой, не спеша, с магазинами – полтора-два часа; ужин, да уборка, да стирка, да с соседкой поболтать, да телик посмотреть – и, пожалуйста, половина двенадцатого, если не все двенадцать: день да ночь – сутки прочь.

Это – время.

Зарплата минус налоги, взносы в профсоюз, комсомол да «черную кассу» – на руки восемьдесят шесть рублей. Ничего, многие одиночки и меньше получают. Отложим за квартиру, свет, газ, там – лампочка перегорела, здесь – кран потек: семь в месяц, как ни вертись. На работе – обед в столовке, да дорога тридцать копеек в день в оба конца, да складчина: то кто-то рождается, то кого-то повысили, то праздник, то девичник – двадцать три, проверено. Да каждый день дома завтрак и ужин, да восемь обедов в субботы с воскресеньями – в общем, тридцатка, а то и все тридцать три выложишь. И – разное: десятку в город Пронск; кино или театр или торт себе для веселья; колготки или чулки (рвутся, проклятые, не поймешь, почему рвутся-то!) – еще пять, а то и семь, а всего расходов по этой статье не меньше двадцати. Если все сложить – восемьдесят рублей плюс-минус ерунда. И на все-все: на платье и белье, на пальто и сапожки, на перчатки и шапочку, на плащик и кофточку, на юбку и шарфик, на мыло, парикмахерскую, косметику, на концерт, на выставку или на электричку до природы доехать – на все-все без излишеств, без кусочка удовольствия откладывать удаётся пятерку в месяц. А мебель? А море? К нему же съездить ой как хочется, глазком одним поглядеть, как там отдыхают. А Ленинград и Суздаль? А меховой воротничок? А туфельки? А ресторан, в котором один раз в жизни была? И проигрыватель, пусть хоть трижды ценный? А цветы самой себе, чтоб соседке Липатии Аркадьевне сказать: «Знакомый подарил...»?

Это – деньги.

Время – деньги: ни того нет, ни другого. Вертись в расчетах, прикидывай, можно ли второй стакан чая выпить или лучше так перебиться: у Людмилы Павловны скоро день рождения, на подарок скидываться придется, да и на девичник; так уж «самой» заведено, а она начальница. Значит, надо считать.

И Клава Сомова считала. Шевеля губами и усиленно морща кругленький, как у ребенка, лобик, складывала, делила и прикидывала, от чего нужно отказаться, чтобы что-то купить, как исхитриться, чтобы чего-то не покупать, и сколько раз можно пойти в кино, чтобы не залезать в долги. У нее никого, решительно никого не было во всем белом свете, кроме бабки Марковны, которой она ежемесячно посылала десятку. Это перенапрягало ее бюджет, но мама у края жизни просила за старуху, и Клава исполняла последнюю волю, хотя бабка эта ни с какой стороны не приходилась ей ни родственницей, ни даже знакомой. Клава знала в общем мамину историю, в подробности не вникала и слала деньги безропотно и бесперебойно. Она свято следовала маминим заветам, потому что считала маму умной, а еще потому, что ничего не имела, кроме этих заветов. Да и заветов-то было всего три.

Первый: жить так, чтобы, боже упаси, не влезать в долги, а, наоборот, ежемесячно что-то откладывать. Хоть рубль мелочью.

– Одна ты, Клавочка, а советчики далеко. Жизнь длинная: где споткнулась, где перегнулась, а где и сплеховала.

Клава в деньгах держалась, а в жизни раз сплеховала. Все, правда, за государственный счет сделали, но стыда нахлебалась. Врачиха три раза на беседу вызывала, о совести говорила, о женской гордости и о том еще, что нерожавшей опасно аборт делать: детишек может никогда уж не быть. Но Клава глядела на свои руки, пылала ушами да твердила, что мама неизлечимо больна, а потому чтоб делали все поскорее.

Второй завет – каждый месяц Марковне десятку отсылать. За то, что мама тоже была одна и в войну не эвакуированной оказалась, а просто беженкой: прибежала в город Пронск из города Красного в августе сорок первого в чем из постели выскочила и рухнула от страха и голода на улице Кирова. Очнулась у Марковны – да так у нее и осталась. После войны в Москву подалась, дочь родила. И ей теперь завещала бабушку Марковну, будто самое бесценное сокровище.

– Себе откажи, а Марковне чтоб каждый месяц. Денег не будет – платье последнее продай. За добро добром платят. – Мать пожевала искусанными губами. – А если случится что плохое, если совсем немоготу станет или обидит кто – к Марковне поезжай. Поняла? К Марковне.

Клава никогда и в глаза-то эту Марковну не видела, а деньги текли и текли, как при маме: за добро платили чем могли, и эта вырванная с кровью десятка тяжелее тянула, чем иные тысячи.

Мама помирала в больнице. В послеоперационной палате, куда никого не пускали, а Клаву пустили, дверь в коридор не закрывалась, напротив находился пост, виднелись край стола и пола сестринского халата. И мама последний завет шептала на ухо, чтоб не конфузить дочь, которой уже исполнилось двадцать, но которую она с материнским упорством продолжала считать несмышленной:

– Гуляй с оглядкой, мужик пошел ненадежный. На слово никому не верь. По себе знаю, как поверить захочется, когда скажут, что любят, а ты меня вспомни. А если и тебе счастья не выпадет, тогда... – Мать помолчала, колеблясь. – Тогда, как я, сделай. Подбери мужчину, чтоб непьющий, и роди. Тяжко одной ребенка тянуть, а век одной вековать еще тяжче. Так что рожай, благословляю. Коль в двадцать пять замуж не выйдешь – рожай, велю...

Этот последний завет воспринялся особо, недаром мать шептала его, щекоча ухо. В нем было не только будущее, но и прошлое, потому что мать в свои двадцать пять поступила так, как сейчас наказывала дочери, исплакавшись в одиночестве и не надеясь более выйти замуж. Приглядела чужого, да зато почти что непьющего, завлекла, исхитрилась в общежитии его принимать, рискуя пропиской, работой и комсомольским добрым именем. И думала сейчас, что рак у нее оттого, что никогда она полностью страсти не тратила и в мужских руках прислушиваясь к шагам в коридоре. Женщины, которые лежали с нею в многочисленных больницах (мама долго помирала, целых два года), в один голос утверждали, что ничего нет для их организма хуже, чем страсть эта половинная, чем богом проклятая однобокая любовь в общежитиях, что все женские недуги оттого, что ни засмеяться, ни вскрикнуть не смели они, и что будто бы это все сильно влияет на детей, напуганных еще до собственной своей жизни. И, наставляя сейчас дочь, умирающая стремилась вложить в нее решимость, которой и самой-то недоставало. И еще – снять с себя непонятную, тревожащую тяжесть. Не физическую, а какую-то иную: мать не знала, откуда она взялась, эта тяжесть, но интуитивно жаждала откровения. Заложенная в ней нравственность, не придавленная соображениями, как ловчее устроиться, шевельнулась вдруг, расправила крылья и попыталась подняться над бытом, житейскими уловками, компромиссами и допущениями, но мать не знала, что такое душа и как она корчится, стыдясь того, в кого вложена, а потому, стремясь облегчить взлет собственной нравственности, учила дочь, как обойтись без нее.

Клава не почувствовала мучительной двойственности, которая так терзала мать в последние часы жизни. Она тоже ничего не знала о душе, а потому и совесть, и нравственность были для нее понятиями абстрактными, существующими сами по себе и конечно же отдельно от нее, как пункты морального кодекса. Она покорно выслушала маму, то и дело вытирая слезы, поняла, что та сказала, но поняла умом, как и была приучена понимать. А ум склонен прикидывать, и Клава, слушая и согласно всхлипывая, уже решала, что это ей не подходит, что она по женским статьям лучше матери, а потому очень скоро встретит замечательного мальчика и они зарегистрируются во Дворце бракосочетания. И это было вполне естественно, и по-иному Клава и думать не могла, потому что ей исполнилось всего двадцать и она была убеждена, что молодость ей – навсегда.

В двенадцать Клава считала себя очень красивой, в шестнадцать – очень хорошенькой, в двадцать – очень симпатичной, а потом поняла, что все горазды потискать, но никто не спешит с предложением. В восемнадцать у нее был жених, но пожениться решили, когда он отслужит в армии, а на проводах Клава позволила, и жених растворился, как сахар. Мама тогда еще была жива, лежала в больнице по первому разу, все случилось у них в комнате, но соседка оказалась замечательным человеком и только за то ругала, что Клава чересчур расщедрилась.

– Мужиков томить надо, подруга. Чем крепче томишь, тем дольше любовь. Ясно тебе?

– Как – дольше? – Клава считала, что любовь, как и молодость, концов не имеет; ее разубеждали, приводя примеры из кинофильмов и даже из художественной литературы, но она все равно так считала.

– Дольше с этим, – пояснила соседка Тома. – Потом другой будет, но его же найти надо!

Это было давно (четыре года прошло!), а женихов не было. Никто не дарил цветов, никто не водил в кино, никто не целовал в полутемном подъезде так, что хрустели косточки. Каждое утро, вглядываясь в зеркало, Клава со страхом подмечала, что глаза начали выдавать в ней какую-то особую, ночную, совиную бесшумность одиночества. И тогда ей казалось, что уже не помогают загадочные тени на веках и даже новый лифчик, так ладненько сделавший фигурку, и она часто плакала по ночам.

Подходили ее сроки, веселая тревожность юности сменялась тоскливой суетливостью; Клава уже не срывалась вдруг на шумную улицу в безумной надежде именно сегодня, сейчас встретить того, кто будет любить ее всю оставшуюся жизнь, а плелась на кухню, где можно было встретить либо Липатию Аркадьевну, либо шалопутную Томку. С Липатией она пила чай, без любопытства выслушивая длинные рассказы о длинных романах, в которых бывшая администраторша всегда первой бросала влюбленных в нее знаменитостей.

– Вы помните Павла Стахова, Клавочка? Знаменитый был артист, знаменитейший! Женщины в провинции так и падали, так и падали. В окна по водосточным трубам на пятый этаж лазили, ей-богу! Ах, как он был влюблен в меня, как влюблен! Однажды прислал трамвай, набитый букетами. Ландыши, ландыши! Весь пол моего номера был усеян ландышами, и я не устояла. Вы – женщина, вы бы тоже не устояли. Я рухнула на эти ландыши как подкошенная...

Клава уныло удивлялась: с истасканной, заштукатуренной, как общежитие, Томкой было веселее. Свои романы она не сочиняла, а раскручивала здесь же, в их коммунальной квартире на трех одиночек. Начав знакомство с утверждения, что мужиков томить надо, она теперь уже не утверждала, а спрашивала:

– Томишься, подруга? Хочешь приведу для здоровья?

Клава испуганно отказывалась. Сначала брезгливо и громко, потом просто громко, потом тихо, потом... Потом были воскресенья, весна, солнце, воробьи. Клава мыла окна, надев старенький, еще школьный халатик, из которого давно выросла и теперь торчала плечами, животом, коленками, бедрами. Липатия уехала в гости, о чем важно и звонко объявила,

соседка тоже прибиралась, грохоча за стенкой, и на душе у Клавы было на редкость покойно. Она с удовольствием наводила чистоту и даже что-то напевала, когда вошла Томка.

– Поешь, подруга? – Она замолчала, взглядываясь в стоявшую в оконной раме Клаву. – Симпомпончик! – Деловито понизила голос: – У меня сантехник замок вставляет. Ничего парень, плечистый. Как кончит, скажу, чтоб к тебе зашел.

Клава хотела возмутиться, хотела отказаться, хотела затрясти головой и – не смогла. Почувствовала, как бросило в жар, как всю ее тянет: ноги, плечи, спину, живот. Сердце забило, а грудь сжало, и она с ужасом услышала собственный лепет:

– Неприбрата я.

– Нормально, подруга, ты сейчас как люля-кебаб, аж скворчишь.

– Тома! – отчаянно зашипела Клава, спрыгнув с подоконника. – Я не знаю. Тома, я...

– Попроси окно закрыть, мол, мучилась, не закрывается. Потом бутылку на стол...

Есть бутылка или одолжить?

– Тома, я боюсь.

– Для здоровья, подруга! Это ж – как анальгин принять.

Клаве было и страшно и гадостно, а тело уже ломило и крутило, и все в нем ждало и жило сейчас надеждой. И уже недоставало сил сказать: «Нет!», уже глаза поглядывали на кровать, а дрожащие руки сами собой поправляли, взбивали, пушистили волосы...

Томка оказалась права: как анальгин. А после горько. И противно, и себя жалко, и вообще скверно. А дни бежали друг за дружкой, и Клава, засыпая, уже начинала подумывать о последнем мамином завете. И яростно презирала себя, вспоминая бесцеремонные пьяные руки...

## 2

Если оценивать Клаву Сомову сторонним мужским взглядом, то следует признать, что взгляд этот мог запросто с кем-то ее спутать. Небольшого росточка, полненькая, несмотря на отчаянные старания не полнеть, девушка с напряженным взглядом больших зеленоватых глаз, короткими волосами, толстенькими, как подставочки, ножками была обыкновенно мила или мила обыкновенно. А если добавить к этому свойственную ей незаметность и всегда почему-то чуть растерянные движения, то выделить ее из московской толпы было совсем не просто. Тем более что и охотников выделять пока не находилось.

В этом были повинны два факта. Во-первых, как считала Клава, имя, которым наградила ее крестная мать. Теперь так никого не звали, имя казалось старушечьим, и, знакомясь, что случалось, правда, крайне редко, Клава представлялась Адой, а потом забывала откликаться. Но тут уж ничего нельзя было изменить: она еще в шестнадцать написала насчет изменения имени в молодежный журнал, а оттуда ответили, какое это прекрасное имя и сколько Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда было с этим прекрасным именем. Но не станешь же мальчику при знакомстве о героинях рассказывать, вот и приходилось называть себя Адой. Это звучало красиво, коротко и немножко даже таинственно.

А второй факт: в их отделе координации встречного планирования, который, между прочим, подчинялся непосредственно главному управлению, мужчин вообще не водилось. Была начальница Людмила Павловна, была заместительница Галина Сергеевна, были старший инженер Вероника Прокофьевна и были девочки – Наташа, Оля, Лена, Катя, Таня, Ира и еще одна Наташа. Вот и весь коллектив, правда, очень разнородный. Галина Сергеевна, к примеру, замужем, Вероника Прокофьевна – брошенная, Оля – мать-одиночка (ее все в отделе «мапой» звали; «мама плюс папа равняется мапа», – как Лена однажды выразилась), Наташа – разведенная, а вот Катя – счастливая: и замужем, и с малышом, и с двумя бабками, почему и училась в институте на вечернем отделении. И Таня тоже – вот-вот счастливая: с влюбленным женихом, папой да мамой и третьим курсом того же вечернего. Ну, а остальные – «ждущие», где окажутся: в брошенных, разведенных или «мапочках», как та же Ленка шутила. Шутить шутила, но сама не ждала: гуляла громко, звонко, отчаянно, «ночи напролет и дни навывлет». Никаких тайн она не признавала, говорить ей что-либо секретное было невозможно, но зато и над своей жизнью покрывало не опускала. Очередным своим «мальчишам» приказывала за нею на работу заходить и обязательно представляла всему коллективу:

– Номер тридцать девятый. Как тебя? Ах да, вспомнила: Андрюша. Точно?

А на другой день интересовалась:

– Ну, как вам мой свеженький?

Одобрjali редко. Чаще плечами пожимали, а Вероника Прокофьевна хмурилась и губки подбирала:

– Что ты нашла в нем, Елена? Не одобряю. Поматросит да и бросит, уж я-то их знаю.

– Так хоть поматросит! – хохотала Лена.

Она знала цену бабским пересудам и водила своих очередников, чтобы позлить родной отдел. Когда удавалось, смеялась, весело закидывая голову: зубки были ровненькими, беленькими, всегда ждуще влажненькими. Она очень хотела, чтобы Ирка сдохла от зависти, но молчаливая, вся из себя такая загадочная Ирочка только улыбалась.

– По мелочи размениваешься, мать.

Вот за нею никогда никто не заходил, но все отлично знали, что если уж перед обедом солидный мужской голос попросит к телефону Иру, то после работы за ближайшим углом ее будет ждать темно-вишневый «жигуль», и Ирочка полетит к нему, асфальта туфельками

не касаясь. А на следующий день у нее непременно появится картинная вялость, таинственные намеки на сквозняк в ресторане, и вся она будет особенно дерзко источать волнуемый аромат французских духов, маленький флакончик которых стоил половину зарплаты. Таких духов не было ни у кого из знакомых, и Клава считала, что их выпускают только для киноартистов.

– Глупая ты, Клавдия, – сказала Наташа Разведенная. – Да духи эти нарасхват...

– Да кто же это из женщин их позволить себе может? – ахнула Клава.

– А они не для женщин выпускаются.

– А для кого же? Для мужчин, что ли?

– Именно что для мужчин. Вот увлеку какого-нибудь артиста-замминистра и получишь.

– А как же Ирочка? – шепотом спросила Клава.

– А вот как раз так же! – засмеялась Наташа Разведенная.

Лена и Ирочка были самыми знаменитыми девочками: у остальных все было обычным. Обычные интересы, обычные заботы, обычные секреты и обычные увлечения. Все они вечно куда-то спешили, вечно куда-то опаздывали, вечно кого-то ждали и всегда боялись, что кто-то куда-то не придет, а если и придет, так чтоб сказать: «До свиданья, дорогая, у меня уже другая». Оба телефона в отделе были постоянно заняты, и начальница Людмила Павловна сочла нужным распорядиться, чтобы по ее личному аппарату не звонили хотя бы до обеда. Девочки постоянно болтали о том, что где дают, кто что достал, перешил, связал или собирается доставать, шить или вязать. Не проходило дня, чтобы кто-то не притаскивал на работу сапожки, кофточки, туфельки, свитерочки, платья, юбки, и все детально обсуждалось, оценивалось и примерялось. И Клава носила, когда что-либо удавалось раздобыть, и Клава примеряла свое и чужое и горячо обсуждала свое и чужое, живя кипучими интересами всего отдела и стыдливо завидуя двум загадочным – Лене и Ирочке, – которые жили забубенной, пугающей, грешной, но звонкой и необыкновенной жизнью.

Отдел существовал по своему расписанию, и самым святым в этом расписании был час обеда. Кроме него, имелись еще два чая: один – до обеденного перерыва, второй – после него. Первый чай был необходим для разгрузки официального перерыва: напившись чаю с купленным в складчину тортом, пирожками или захваченными из дома бутербродами, женщины в обед бежали по магазинам. Семейные устремлялись за продуктами, одинокие спешили на разведку в промтоварные. Если кто-то где-то на что-то нарывался, то брал не только для себя. Это позволяло коротать второй, послеобеденный чай в благодушной атмосфере примерок и советов. Притом они неторопливо и старательно исполняли основную работу, успевали проводить профсоюзные и комсомольские собрания и были на хорошем счету.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.